

## СОДЕРЖАНИЕ

«Мечтающие над строкою...» (предисловие) .....	4
Беспокойное сердце поэта (Эдуард Георгиевич Багрицкий) .....	7
Тайна высокой души (Борис Петрович Корнилов) .....	70
«Юноша с серебряной трубой...» (Павел Николаевич Васильев) .....	126
Свидетель (Дмитрий Борисович Кедрин) .....	178
«С опрокинутым в небо лицом...» (Николай Алексеевич Заболоцкий) .....	230
Дорога в Лукоморье (Леонид Николаевич Мартынов) .....	294

## «Мечтающие над строкою...»

Траурными фанфарами, звучащими вдогон затравленным и загубленным поэтам, способны заслушаться только наивные и простодушные люди. Но только такие и нужны в поэзии, только такие и могут послужить высокому и великому. У прочих иная мораль, иное призвание...

Первые годы и десятилетия Советской власти. Опьянение злобой и невежеством, вседозволенностью и силой. Могучий, пока ещё во многом стихийный напор поэзии и страшная звериная безапелляционность критики. И у каждого своя свобода, своя правда, свой кураж. Все — личности, все — значительны!

Но уже прорезается, выделяется, осознаётся классовое противостояние не только людей, но и вещей, явлений, произведений искусства. Уже враждуют между собой кастрюли и сковородки, города и деревни, коммунальные квартиры и дворцы...

Революция — как всеобщий бунт, как единоборство всех со всеми!

Кровь, перемешанная с нефтью и машинным маслом, с цементом и землёй. Кровь, хлещущая из горла и каплющая со штыка. Кровь преступления и кровь искупления. Кровь, переливаемая из человека в человека, из сосуда в сосуд...

И уже вырабатывается оптимальная стратегия нового общества — не выделяться, помалкивать, исчезнуть, раствориться в толпе. Но как это сделать, если ты изначально — другой, изначально — не как все, изначально — поэт? Если ты ещё и радуешься своей непохожести на прочих, счастлив своей неповторимостью?

Значит, не растворишься, не исчезнешь. Да и промолчать едва ли удастся тому, кто и рождён для песни, и явился в этот мир, чтобы сказать своё слово. Выходит, и гибель такого человека неминуема, как расплата за это слово...

С поэтами первой советской генерации, пожалуй, более всего пришлось властям повозиться: и воспитывать в надлежащих партийных идеалах, и музу каждого муштровать. Ну а по причине безнадёжности таковых усилий ещё и уничтожать.

Маленькие поэты могли бы как-то спрятаться, залечь, хотя бы в суконных складках сталинской шинели или вулканическом жерле его знаменитой трубки. Впрочем, маленьким и прятаться не нужно — попробуй, разгляди их. Ну, а большие, даже согнувшись в три погибели, даже съёжившись, выглядели до неприличия крупно. А всё благодаря талантам немереным.

Конечно, и тут не обошлось без удачи. Очень уж плох здоровьем оказался Эдуард Багрицкий. Тяжелейшая астма. Не дотянул до 37-го — высшей точки сталинских репрессий. Николая Заболоцкого доконали лагеря и «содовая грязь сибирских озёр». Леонида Мартынова, хотя и не сломила, но заметно пригнула, заставила стать осторожнее трёхгодичная северная ссылка...

С Дмитрием Кедриним сработали куда грубее. Уличное убийство, худо замаскированное под несчастный случай. Откровенный бандитизм. Впрочем, тоже из арсенала красной инквизиции. А сколько было поставлено к стенке: Николай Клюев, Павел Васильев, Борис Корнилов, Иосиф Уткин... А сколько таких, кому рот заткнули смертельным кляпом ещё до первой услышанной миром песни? Этого уже и знать не знаем...

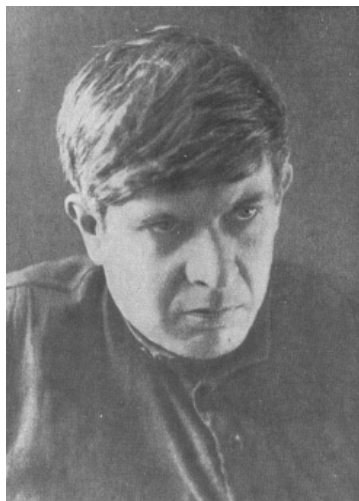
Вот и пришла на смену «серебряному веку» «ледяная пустыня», о которой пророчествовал обер-прокурор священного синода Победоносцев. А в этой пустыне сиротливо высятся немногие одиноко стоящие колонны так и не построенного Парфенона советской поэзии. Руины несбывшегося, невоплощенного... Трагический надлом культуры, управлять которою

посмело бескультурье, «гуманизм» в обличье красноезвёздного демона.

Увы, в России сколь плодородна почва для зарождения поэзии, столь и атмосфера удушлива для её произрастания. И эта почва — горькое, бесправное во все века существование народа. И эта атмосфера — ничем не ограниченный произвол властей, всегдашняя, непрменная деспотия, без которой ни воровства повсеместного не обуздать, ни коррупции всепроникающей. Вот российские поэты и рождаются в изобилии, и гибнут чуть ли не гуртом — высокая, очистительная жертва за наши пороки и грехи.

# БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА

## ЭДУАРД ГЕОРГИЕВИЧ БАГРИЦКИЙ



Эдуард Георгиевич Багрицкий явился, может быть, первым крупным поэтом, которого воспитала Революция, а выдвинула и окончательно сформировала советская действительность. В этом смысле Маяковский и Есенин, Пастернак и Мандельштам, Ахматова и Цветаева были порождением русской дореволюционной культуры. Ещё в дооктябрьскую пору обрели они первых поэтических наставников и первое признание. Творческие достижения Багрицкого относились уже к советскому времени.

Эдуард Георгиевич оказался, по существу, изолирован от предшествовавших ему крупных творческих личностей. Вот почему его учителем в поэзии оказалась книга, а точнее, олицетворяемая ею мировая литература, к тому времени уже широко представленная в талантливых переводах, выполненных корифеями российской словесности.

Отсюда «книжность» некоторых стихов Эдуарда Георгиевича, его разрыв с современными течениями, а также стремление не противопоставить себя уже осуществлённому в русской поэзии, но сомкнуться с ним.

Багрицкий оказался, может быть, единственным большим поэтом, не успевшим пострадать от режима, непримиримого к свободному творчеству. Тут, конечно, сказались и его авторская

скромность, и чурание официоза, и благоразумная осторожность при общении с завистниками, и тяжелейшая форма астмы, гарантировавшая его врагам и недоброжелателям, что поэт не заживётся.

И впрямь Багрицкому не было суждено застать время, когда литературная жандармерия Советского государства окончательно прибрала к своим рукам все издательские мощности и блага, предназначенные писателям. Не дотянул он и до глобальных расправ с творческой интеллигенцией, иначе бы тоже пал жертвой своего неординарного таланта.

Но дух чиновничьего насилия над искусством ощущался уже с середины двадцатых годов, что довело наиболее ранимых поэтов: кого — до творческого кризиса, кого — до преждевременной гибели.

Обречённость на духовный и интеллектуальный вакуум, непризнание, отсутствие возможности публиковаться и даже гонение в советскую пору оказываются общей судьбой всех истинных поэтов. Как явление, чуждое тоталитарному режиму, они становятся изгоями и отшельниками.

Время ещё долго будет собирать их произведения, разбросанные по литературным скитам, истлевающие среди бумажного хлама и старья. Осип Эмильевич Мандельштам в своих стихах предрёк непростую участь поэтов советской эпохи:

И не одно сокровище, быть может,  
Минуя внуков, к правнукам уйдёт.  
И снова бард чужую песню сложит  
И, как свою, её произнесёт.

Пророчески точным тут оказалось даже архаичное слово «бард», давшее имя направлению изустной поэзии «шестидесятников», распространяемой самиздатом и распеваемой под гитару, что в пору развитого книгопечатания выглядит едва ли не допотопно. Таковою оказалась судьба большой поэзии, а вот маленькая умела поладить с режимом и даже угодить ему. Малень-

кая развивалась более последовательно, во всем пародируя групповые традиции поэзии дореволюционной, но без её творческих взлётов. Знаменем этой маленькой поэзии становится ненависть к таланту, девизом — дубовый реализм, чуждый любому проявлению художественности, оружием — политический донос.

Нам известны стихи Пушкина, в которых поэтическое призвание приравнивается к призванию пророка, «воздвигаемого» и посылаемого в мир Господом Богом; известно и тютчевское определение — «богов орган живой».

Теперь же в стране воинствующего атеизма и прокрустовой уравниловки поэзия не могла считаться ни божественным откровением, ни делом избранных, но превратилась в примитивное литературное ремесло, которому стали обучать сначала в ИФЛИ, а потом в Литературном институте. Затея, над нелепостью и наивностью которой ещё в XIX веке посмеялся Генрих Гейне:

В Баварии школа поэтов есть.  
Детишки — ну, просто прелесть,  
На них колпачки с бубенцами на всех,  
И все на горшочки уселись.

Новая «социалистическая поэзия» стала одним из идеологических инструментов по оболваниванию масс. Внешней буафорией подражая великой русской поэзии, но внутренне отрицая её, она объявляла себя её преемницей, выдвигала и ставила в один ряд с классиками свои дутые величины, подчас не лишённые некоторых версификаторских способностей, но чаще всего замечательно бездарные.

Обслуживающая эту маленькую поэзию критика оказалась самым бессовестным рынком литературных репутаций и слав. Строго клишированная беззастенчивая ложь сделалась содержанием, а расхожая пошлость — формой так называемого социалистического реализма, единственного «творческого» направления, допускавшегося властями.

Цитаделью этой мнимой литературы и её главной кормушкой сделался Союз писателей, удостоившийся ядовитой сатиры Булгакова в романе «Мастер и Маргарита» и провиденный более чем за сто лет в гениальной басне Крылова:

### ПАРНАС

Когда из Греции вон выгнали богов  
И по мирянам их делить поместья стали,  
Кому-то и Парнас тогда отмежевали;  
Хозяин новый стал пасти на нём Ослов.  
Ослы, не знаю, как-то знали,  
Что прежде Музы тут живали,  
И говорят: «Недаром нас  
Пригнали на Парнас:  
Знать, Музы свету надоели,  
И хочет он, чтоб мы здесь пели». —  
«Смотрите же, — кричит один, — не унывай!  
Я затяну, а вы не отставай!  
Друзья, робеть не надо!  
Прославим наше стадо  
И громче девяти сестёр  
Подыдем музыку и свой составим хор!  
А чтобы нашего не сбили с толку братства,  
То заведём такой порядок мы у нас:  
Коль нет в чьём голосе ослиного приятства,  
Не принимать тех на Парнас».  
Одобрели Ослы ослово  
Красно-хитро-сплетённо слово:  
И новый хор певцов такую дичь занёс,  
Как будто тронулся обоз,  
В котором тысяча несмазанных колёс.  
Но чем окончилось разно-красиво пенье?  
Хозяин, потеряв терпенье,  
Их всех загнал с Парнаса в хлев.

.....



Мне хочется, невеждам не во гнев,  
Весьма старинное напомнить мненье:  
Что если голова пуста,  
То голове ума не придадут места.

В этой басне Иван Андреевич предрёк не только ослиную монополию на печатное слово, установившуюся в советской литературе. Тут предсказана и Революция с последовавшей за нею эмиграцией дворянского сословия (Из Греции вон выгнали богов), и национализация господских поместий с разделом земли (И по мирянам их делить поместья стали).

Родился Эдуард Георгиевич 4 ноября 1895 года в Одессе, на Базарной, 40, в мелкобуржуазной еврейской семье. Папа — Гodelь Мошкович Дзюбин, владелец мелочной лавки. Мама — Ита Абрамовна Дзюбина, урождённая Шапиро. Житейское легкомыслие сына, а также его склонности к искусству и безудержным фантазиям — это от неё.

Псевдонимом Багрицкий поэт обзавелся ещё при царизме, не исключено, что из страха перед черносотенцами. Возможно, в этом слове, имеющем тревожный и даже кровавый цветовой оттенок, поэту слышалась приближающаяся Революция.

Очевидно, предгрозовой мятежный дух, бросавший сословье на сословье, народ на народ, не минул и семьи Эдуарда. Мальчик ещё в отрочестве возненавидел окружающий его мещанский уклад и религиозное лицемерие, ничего общего с истинной верой не имеющее.

#### ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Я не запомнил — на каком ночлеге  
Пробрал меня грядущей жизни зуд.  
Качнулся мир.  
Звезда споткнулась в беге  
И заплескалась в голубом тазу.  
Я к ней тянулся... Но, сквозь пальцы рея,

Она рванулась — краснобокий язык.  
Над колыбелью ржавые евреи  
Косых бород скрестили лезвия.  
И всё навыворот.  
Всё как не надо.  
Стучал сазан в оконное стекло;  
Конь щебетал; в ладони ястреб падал;  
Плясало дерево.  
И детство шло.  
Его опресноками иссушали.  
Его свечой пытались обмануть.  
К нему в упор придвинули скрижали,  
Врата, которые не распахнуть.  
Еврейские павлины на обивке,  
Еврейские скисающие сливки,  
Костыль отца и матери чепец —  
Всё бормотало мне:  
«Подлец! Подлец!»  
И только ночью, только на подушке  
Мой мир не рассекала борода;  
И медленно, как медные полушки,  
Из крана в кухне падала вода.  
Сворачивалась. Набегала тучей.  
Струистое точила лезвиё...  
— Ну как, скажи, поверит в мир текущий  
Еврейское неверие моё?  
Меня учили: крыша — это крыша.  
Груб табурет. Убит подошвой пол,  
Ты должен видеть, понимать и слышать,  
На мир облокотиться, как на стол.  
А древоточца часовая точность  
Уже долбит подпорок бытиё.  
...Ну как, скажи, поверит в эту прочность  
Еврейское неверие моё?

Любовь?  
Но съеденные вшами косы;  
Ключица, выпирающая косо;  
Прыщи; обмазанный селёдкой рот  
Да шеи лошадиный поворот.  
Родители?  
Но, в сумраке старея,  
Горбаты, узловаты и дики,  
В меня кидают ржавые евреи  
Обросшие щетиной кулаки.  
Дверь! Настежь дверь!  
Качается снаружи  
Обглоданная звёздами листва,  
Дымится месяц посредине лужи,  
Грач вопиёт, не помнящий родства.  
И вся любовь,  
Бегущая навстречу,  
И всё кликушество  
Моих отцов,  
И все светила,  
Строящие вечер,  
И все деревья,  
Рвущие лицо, —  
Все это встало поперёк дороги,  
Больными бронхами свистя в груди:  
— Отверженный!  
Возьми свой скарб убогий,  
Проклятье и презренье!  
Уходи! —  
Я покидаю старую кровать:  
— Уйти?  
Уйду!  
Тем лучше!  
Наплевать!

Да и мудрено было бы для одесского мальчишки полюбить убогий обывательский уют, когда за аляповатыми стенами сырой, тёмной и тесной квартиры шумел, сиял, играл голосами и переливался красками фантастически прекрасный приморский город Одесса. Какой уж тут может быть житейский реализм, какая проза рядом с этой великолепной, чарующей живой романтикой!

Тем более что отец был изрядным скупердяем. Копил гроши. Мечтал о собственном деле. Однако едва таковым обзавёлся, как прогорел. Пришлось вернуться к прежнему хозяину в магазин готового платья — приказчиком...

Духовно и физически отвергнутый семейным местечковым затхлым мирком, Эдуард предпочёл дому — улицу, город, море; а мещанской серости и косности — сказочно прекрасный мир поэзии.

Впрочем, именно обывательский достаток его родителей позволил юноше обучаться в «Реальном училище» и таким образом получить начатки образования.

Кроме увлечения стихами, появившегося в эту пору, юноша ещё и отлично рисовал, опять-таки пренебрегая скучными под-сказками натуры, но широко пользуясь образной рельефностью своей памяти и причудами воображения. Вот почему его рисунки получались остро неожиданными и лаконично яркими.

Но и при всей своей любви к знаниям, при всём интересе к литературе Эдуард нередко «правил казну», что на ученическом жаргоне означало — удирал с уроков. Вместе с друзьями, конечно. В Александровский парк или на Ланжерон...

И тогда их школой становилось море!

Одесса оказалась самодостаточна, чтобы не только произвести на свет незаурядного поэта, но и образовать его, и одарить первым ощущением своего призвания. Нашлось тут и подходящее литературное окружение — целая группа способных молодых писателей-одесситов: Валентин Катаев, Илья Ильф, Евгений Петров, Лев Славин, Зинаида Шишова, Семён Кирсанов, Юрий Олеша, Вера Инбер, Татьяна Тэсс (Добрая половина из

этих имён — литературные псевдонимы). Причём характерной особенностью их творческого общения было решительное неприятие любого эпигонства, всякой вторичности. Отпор подражателям давался самый беспощадный, без лишних сантиментов.

Зинаида Шишова впоследствии вспоминала:

«Целые полчища слов мы вывели из употребления: “красивый”, “стильный”, “змеится”, “стихийно”... Мы их затапывали, как окурки.

Я помню, как кто-то (вероятно, Адалис) под шумок протащил к нам слово “реминисценция”. Оно прижилось и уже побрякивало кое-где в разговоре. И я точно помню день, когда Багрицкий его убил. Он с ним расправился в упор, как честный враг.

— Слова “реминисценция” не существу-ет, — сказал он, — говорите — литературная кража, воровство. Наконец, если уж вам так нравится, — плагиат.

И слово “реминисценция” перестало существовать».

Худой, высокий, с орлиным носом и пронзительным взглядом огромных тёмно-карих глаз, юноша равно напоминал и древнеримского патриция, и средневекового менестреля, а был всего лишь одесским голодранцем. Правда, у этого голодранца уже имелось несколько удивительных стихотворений.

«Эдю» молодая поэтическая братия Одессы считала своим главарём не только благодаря его таланту, но и за вкус к жизни, за врождённый романтизм. С ним было интересно, весело; у него было множество друзей самых разных профессий и судеб: биндюжники и рыночные торговцы, рыбаки и актёры. Не пренебрегал молодой поэт обществом бродяг и воров.

А ещё был он весел и раскован. Мог заявиться в редакцию местной газеты «Моряк», подойти к шкафу с профессорской энциклопедией и, ни слова не говоря, «экспроприировать» папиросную бумагу, которой были переложены цветные иллюстрации:

— Вот теперь покурим!

Колоритная личность — под стать героям одесских рассказов Бабеля. Но и несомненный интеллеktуал. Именно от «Эди» узнали его друзья о том, что существует такой поэт — Иннокентий Анненский, и даже стихи Александра Блока впервые прозвучали для них в его исполнении.

Между тем подносивший своей компании мировую и отечественную поэзию, что называется, на блюдечке, юный поэт вынужден был до всего доходить сам. Разумеется, через книги.

Что же, для некоронованного короля одесских поэтов — обязанность почётная!

В 1915 году Багрицкий начал печататься в одесских альманахах: «Серебряная труба», «Авто в облаках», «Седьмое покрывало». По этим публикациям заметно, что при всей ненависти юных авторов к подражателям и самому Эдуарду Георгиевичу не удалось избежать влияния Гумилёва, Брюсова, Маяковского. Увы, ходить проторенными тропами — общая участь всех начинающих. Да и название каждого альманаха выдавало характер стилизации, в которой раз за разом выступали озорные одесские поэты.

«Серебряная труба» намекала на изысканное, утончённое звучание стихов, написанных в духе акмеизма, «Седьмое покрывало» указывало на символизм с его неременной таинственностью и обилием фантастических драпировок. «Авто в облаках» откровенно щеголяло футуристическим бредом. Не альманахи, а серия литературных упражнений в новомодном ключе и даже пародий на столичный поэтический балаган, выполненная местными стихотворцами.

Февральская революция 1917-го порадовала одесскую молодёжь всеобщим праздником народного гулянья и удалого разгула. Тут уже и Багрицкий вместе со студентами бил морды городовым да громил полицейские участки.

Очевидно, тогда он и почувствовал впервые, что Революция — это очень весело! С той поры всякое упоминание о кро-

вавой стихии мятежа будет проходить у поэта на высоком эмоциональном градусе вдохновения:

Так бей же по жилам,  
Кидайся в края,  
Бездомная молодость,  
Ярость моя!

В том же году довелось ему, хоть и недолго, прослужить в милиции, главным образом, из-за внушающего страх и ужас, вполне одесского шика разгуливать по городу с оружием. Не то чтобы налётчик или какой другой бандит, а девчонки засматривались...

В октябре, будучи рекрутирован в царскую армию, поэт оказывается участником персидской военной экспедиции, проводившейся под началом генерала Баратова.

Но вот следующая, уже Великая Октябрьская Революция. Багрицкий дезертирует, а в 1918-м добровольно вступает в Красную Армию. И направляют его в особый партизанский отряд имени ВЦИК инструктором политотдела. Освобождая Украину, отряд сражается с бандами Махно, участвует в уничтожении верблюжьих полков атамана Григорьева.

В 1919-м к моменту, когда в Одессе установилась советская власть, поэт возвращается в родной город и вместе с Олешей, Катаевым и Нарбутом приступает к работе в Украинском отделе РОСТА (ЮГРОСТА), а также начинает редактировать страничку местных «Известий», посвященную рабочей поэзии.

Принял Эдуард участие и в занятиях рабочего литературного кружка «Потоки Октября». Тогда же в Одессе возникло и творческое объединение более высокого уровня — «Коллектив поэтов». Под этим скучным названием искал свой путь в большую литературу целый ряд авторов, впоследствии стяжавших известность.

Между тем погружённость в поэзию препятствовала Багрицкому ощутить историческую реальность происходящего. По-

хоже, что действительной, значимой в эту пору была для него только литература, а всё остальное, даже собственную жизнь поэт воспринимал только внешним образом:

«События мало волновали меня, я старался пройти мимо них. Даже в 1919 году, в Красной Армии, я всё ещё писал поэму о граде Китеже. Вяч. Иванов, Хлебников, отчасти Кузмин были моими идеологами. Моя повседневная работа — писание стихов к плакатам, частушек для стен- и уст-газет — была только обязанностью, только способом добывания хлеба. Вечерами я писал стихи о чём угодно: о Фландрии, о ландскнехтах, о Летучем Голландце, тогда я искал сложных исторических аналогий, забывая о том, что было вокруг. Я боялся слов, созданных современностью, они казались мне чуждыми поэтическому лексикону — они звучали фальшиво и ненужно. Потом я почувствовал провал — очень уж моё творчество отъединилось от времени. Два или три года не писал я совсем...»

Однако проходит время, и всё воспринимавшееся поэтом как бы во сне постепенно сгущается, начинает пульсировать, оживать, превращаясь в горячее, красочное и сочное изображение великой и страшной эпохи.

В 1919—1924 годах Багрицкий постоянно публикуется в местной прессе, причём под псевдонимами: «Некто Вася», «Нина Воскресенская», «Рабкор Горцев». По числу псевдонимов легко заключить, что писал он в эту пору за троих. А изданий в Одессе было множество. Газеты: «Известия», «Моряк», «Шквал», «Станок»... Журналы: «Силуэты», «Облава», «Яблочко»...

В 1920-м довелось поэту участвовать в альманахе «Ковчег», вышедшем в Феодосии. Едва ли не первая публикация за пределами родного города. Тираж ничтожный — всего сто экземпляров. Да и объём невелик — 64 страницы. Зато в какой компании: Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Максимилиан Волошин, Илья Эренбург, Софья Парнок... Такого блистательного сосед-



ства по изданию у Эдуарда Георгиевича, пожалуй, больше никогда не будет.

Впрочем, к славе поэт не рвался. В то время как его друзья спешили перебраться в Москву, он продолжал жить в родном городе: сначала вдвоём с матерью на улице Ремесленной, 11, в крошечной бедной квартире, а женившись, скитался со своей супругой Лидией Густавовной по чужим домам, снимал углы.

Нужда и болезни, болезни и нужда. Казалось бы, впору поникнуть, окостенеть, сдаться? А он смеялся, шутил, откалывал номера. Друзья, в ужасе за «Эдю», бросались раздобывать для него деньги. А ему и горя мало. Знай, стихи, свои да чужие, читает.

Озорной, дерзкий, весёлый, неунывающий!

Самому есть нечего, а он ещё прикармливает какого-нибудь приبلудившего оборванца. По воспоминаниям Семёна Гехта, одного из учеников Бабеля: «У классического бедняка Эдуарда Багрицкого всегда жил какой-нибудь нахлебник».

Вроде бы поэт и не от мира сего, а как яростно, как дивно влюблён в этот мир! Не жилец вроде бы, а как переполнен жизнью, как эта жизнь пульсирует в нём и клокочет! И был он высок ростом, а в силу своей невообразимой худобы казался ещё выше...

В 1922-м у Багрицких родился сын Сева. И однажды, в пору проживания молодой семьи на чердаке какого-то дома, родители новорожденного ненадолго отлучились, оставив младенца лежать в бельевой корзине, заменявшей люльку. Жильцы дома, бездетная пара, услышав плач ребёнка и найдя его в корзине, решили, что это подкидыш. Вынув мальчика из соломы, они одели его в кружева и положили на белоснежную постель.

Вернувшись домой и не обнаружив ребёнка, Лидия Густавовна не на шутку перепугалась. Когда же отыскала своего сына, его ей так в кружевах и возвратили. Багрицкий, не терпевший барства, приказал кружева снять и отнести на барахолку: дескать, ребёнок «не тех кровей», чтобы его эдак по-королевски наряжали.

Казалось бы, мелкий бытовой эпизод?

Между тем барахолка распределяла и перераспределяла всякий житейский хлам. Барахолка одевала и кормила. Барахолка была едва ли не главным стержнем и регулятором революционного процесса, ибо все громкие лозунги и призывы оставались трибунным крикунам и шли на плакаты. А вот барахолка действительно принадлежала народу, со всем своим вконец выношенным, краденым, экспроприированным и награбленным добром.

Магазины, большие и маленькие, в эту пору, конечно же, закрывались, как явление, чуждое массам, а содержимое сиятельных витрин и добротных прилавков перекачывало в толпу, топчущуюся на рыночных и базарных площадях и воровато изпод полы распродающую прошлое и будущее России.

Революция и была огромной на всю страну барахолкой!

Ну а для поэта время это было трудно не только заботами о хлебе насущном, но и неким творческим перепутьем. Книжный мир никак не хотел состыковываться с миром реальным, а реальный — с книжным. И коллизия эта норовила обернуться чуть ли не личностной раздвоенностью, разрывом сознания...

Были стихи для газеты, и были стихи для души. И между ними — пропасть. И возникало подозрение, что и те, и другие — не поэзия и что поэзия возможна лишь как преодоление таковой пропасти. Позднее Багрицкий сумеет и почувствовать это, и проанализировать:

«Я был культурником, лектором, газетчиком — всем, чем угодно, — лишь бы услышать голос времени и по мере сил вогнать в свои стихи. Я понял, что вся мировая литература ничто в сравнении с биографией свидетеля и участника революции».

Вот он — момент истины!

Из всех одесских писателей, уже начавших понемногу пробиваться, Эдуард Георгиевич появился в Москве последним, да и то не по своей охоте. Чуть ли не силком его туда перетаскивали ретивые приятели.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)